



В. Михеевъ.



Фрося и Пестряжка.

Съ иллюстраціями.



ИЗДАНИЕ
КНИЖНАГО МАГАЗИНА

Торг. Дома

С. КУРНИНЪ и К^о,
Москва, Кузнец. Мостъ,
д. Тверского поля.

В. Михеев. Фрося и Пестрянка: [Рассказ для детей] //Издание Книжного
магазина Торгового дома С. Курнин и К°, Москва, 1902
FB2: "TaKir", 25.12.2019, version 1.0
UUID: B6A72F-2F9D-5A4D-5FB4-E880-28B1-ED9B7B
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Михайлович Михеев

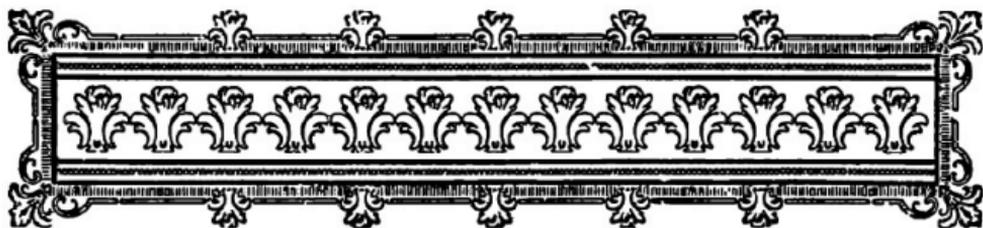
Фрося и Пестрянка
(Всё о собаках)

Содержание

#1	0005
Глава I	0006
Глава II	0018
Глава III	0027
Глава IV	0037
Глава V	0044
Глава VI	0051
Глава VII	0058
Глава VIII	0065
Глава IX	0072

**Василий Михайлович Михеев
Фрося и Пестрянка
с иллюстрациями
(современная орфография)**

*Дозволено цензурою. Москва, 17 января
1902 г.*



Глава I

Пестрянка была цепная собака у мясника Гобзина, жившего в довольно большом селе.

Собственно говоря, Пестрянка была рождена не для этого. Она не была обыкновенной дворняжкой: она родилась в городе, во дворе богатого купца, от легавой собаки довольно чистой породы. Но, во-первых, отец ее был простым дворовым псом; во-вторых, купцу, хозяину ее матери, не нужно было новой собаки; поэтому Пестрянка, еще в нежном возрасте, слепая, вполне беспомощная, была обречена на потопление.

Спас ее от гибели случай, который все-таки нельзя было назвать счастливым. Мясник Гобзин, доставлявший мясо купцу, заехал к нему на двор и увидел Пестрянку в руках дворника. Слепая собачка вся дрожала в этих мозолистых руках, грубо сжимавших ее. Гобзин был не из мягкосердечных; но он увидел, что собачонка, по-видимому, не совсем простой породы и может быть хорошей игрушкой его маленьким дочерям, Кате и Аню-

те.

— Топить, что ль, тащишь? — спросил он дворника.

— А то что? целоваться с ней, что ли? — отозвался дворник, — хозяин велел утопить: значит, плоха порода... Не хочешь ли взять? — угадал дворник намерение мясника.

— И то, давай! Дочек потешу! — и с веселым хохотом Гобзин ухватил из рук дворника собачку, которая даже взвизгнула: так он ее сдавил своими жирными пальцами.

Гобзин сунул Пестрянку за пазуху, затянул потуже кушак, и в течение почти часа слепая собачонка тряслась у него на груди, пока он ехал домой, в свое село, по высохшим колеям проселочной дороги, в крепко сколоченной, «шикарной», как он утверждал, телеге.

Дочери его, погодки 5 и 6 лет, онемели от восторга, когда он швырнул к их ногам, с новым хохотом, не перестававшую дрожать собачонку. Почти в один голос они назвали ее Пестрянкой: она была, действительно, ярко-серая, с большими черными пятнами и белыми подпалинами на ногах, почему казалась ярко-пестрой. Старшая девочка достала

где-то блюдце с молоком и сунула его под черную морду Пестрянки.

Это молоко, которое, впрочем, она с трудом нашла в блюдце, долго суня свой холодный нос в острые края его, было первое впечатление Пестрянки, показавшее ей, что жить все-таки стоит.



Дальнейшая жизнь ее в течение первого года ее пребывания на земле подтверждала

это. Гобзин, отдав ее дочерям, совсем забыл о ней, — а в своем доме он был грозой для всех, и хотя часто громко и раскатисто хохотал, но даже этот хохот его звучал точно лязг тяжелого заржавленного железа. Жена же его, Акулина Мироновна, и девочки, Катя и Анюта, — как скоро убедилась Пестрянка, были для нее существами высшими и необыкновенно добрыми.

Когда Пестрянка слышала хохот хозяина, ей казалось, что миру пришел конец, и она забивалась под столы, под стулья, опускала свой смешной маленький хвостик и свои не по росту большие уши, напоминавшие мокрые тряпки. Когда же она слышала усталые, медленные шаги хозяйки или бойкую топотню маленьких ножек Кати и Анюты, она чувствовала, что ничто еще не погибло; наоборот, она чувствовала себя необыкновенно счастливой и начинала прыгать на своих крупных лапах, шаловливо приникала мордой к полу и вертела своим хвостиком, точно неумомимой, черной змейкой. Ее большие темно-карие глаза, с черным ободком, сверкали, и слегка розоватые ноздри весело, чуть

слышно похрапывали. Это счастье веселого щенка исходило, конечно, от бледной, болезненной, всегда погруженной в домашние хлопоты женщины и двух шумливых розовых курносых девочек; состояло же это счастье в полной свободе, постоянной сытости и в том, чего Пестрянка не могла себе уяснить, но, что она так горячо чувствовала всем своим собачьим сердцем. Это непонятное и такое хорошее для Пестрянки чувство была любовь к ней Акулины Мироновны, Кати и Анюты, главным же образом, любовь ее, Пестрянки, к этим трем высшим и чудным существам, в руках которых, в первый год ее жизни, была ее судьба.

Что такое эта любовь — Пестрянка не понимала, но так же точно она не понимала, что такое это теплое, яркое солнце, в лучах которого ей так приятно нежиться, что такое в сущности — белое молоко и теплая овсяная тюр, которую в известное время дня ставят ей под нос то большие женские руки с синими жилками, то маленькие, загоревшие детские ручки. Да Пестрянке и не нужно было понимать, что такое солнце, что такое эти ми-

лые ей руки, что такое молоко и тюр, наконец, что такое любовь к ней, или любовь ее к этим рукам. Для нее было ясно одно: все это — счастье, все это то, от чего так весело, так хочется прыгать, томно визжать и заливаться звонким лаем.

Но она все-таки чувствовала, что самое-то лучшее было и самое непонятное, — именно любовь... Никогда ей не хотелось так прыгать, кувыркаться и лаять, как при виде Акулины Мироновны и девочек. В них было что-то особенное, и в ней самой при виде их пробуждалось что-то такое, что переполняло все маленькое существо Пестрянки исступленным блаженством. А между тем это *что-то* нельзя было так определенно ощутить, как ее кожа ощущала тепло солнца, ее глаза — яркий блеск солнца, а ее бойко извивающийся синевато-розовый язык ощущал тепло и влажность молока и овсяной тюри. Это *что-то* нельзя было сравнить по силе и приятности ощущения с лучшим ее ощущением, с тем, что чувствовал нос ее, когда запах овсянки доносился еще издалека.

Впрочем, этим же носом Пестрянка глав-

ным образом чувствовала и любовь, потому что это чувство всего больше оказывалось в том, что ее нос отлично знал отдельные, совершенно своеобразные запахи и Акулины Мироновны, и Кати, и Анюты. И чуют издали эти запахи, когда кто-нибудь из них подходил к Пестрянке, было самым утонченным ее счастьем; в это время хвост ее, помимо ее воли, закручивался и поднимался торчком.

Таким беспечным счастьем она наслаждалась почти весь первый год своей жизни, в течение которого хвост ее необыкновенно удлинился и все тело из маленького, неуклюжего, постепенно обратилось в довольно высокое и складное.

Но зато теперь ей уже приходилось испытать различные лишения. Так, например, раньше и хозяйка, и Катя, и Анюта часто брали ее на руки, и это было для нее наивысшим наслаждением. Теперь же перестали брать ее на руки: она была слишком велика. И как она ни скакала теперь на своих благодетельниц, визжа и хлопая длинными ушами, добиться, чтоб ее взяли на руки, она не могла.

Но это желание попасть на милые теплые

руки постепенно ослабело в Пестрянке. Его заменило неудержимое стремление бегать. Она теперь чувствовала с торжеством, что вместо неуклюжих, с трудом державших на себе ее тело лап, у нее образовалось четыре крепких, бойких, жилистых ноги, и приводить их в непрерывное движение было для нее новым «счастьем». И это возрастание счастья не остановилось на беганье.

Нос Пестрянки вдруг открыл, что если запахи хозяйки и девочек, — запахи *любви*, ей сладостны, то не менее сладостны, хотя совершенно в другом роде, и запахи домашних уток, гогочущих на дворе, цыплят, суетливо бегающих по кухне, даже воробьев, прыгающих по ветвям берез, нависших над хозяйским крыльцом. Сперва Пестрянка была в недоумении. Хозяйку и ее дочерей Пестрянка любила и своим чутким носом и всем своим безалаберным, но душевно горячим сердцем; ну, а этих уток, цыплят, воробьев — их разве она любит? Что они-то ее совсем не любят — это ей ясно. Иначе зачем бы они стали так глупо и шумно разбегаться и разлетаться при виде ее?

Да это было не любовь, — Пестрянка это понимала. Это было гораздо ближе к тому чувству, которое ощущал ее нос к молоку, к овсяной тюре. Но в этом чувстве к уткам, цыплятам, воробьям было что-то иное, не только не похожее на любовь, но даже противное ей: ей хотелось вонзиться зубами в перья этих птиц. Силу и остроту своих зубов впервые почувствовала Пестрянка только теперь, глядя на птиц.

А между тем это новое непонятное чувство становилось все сильнее; ради него Пестрянка начала забывать даже лучшее, что знала до сих пор, — любовь к Акулине Мироновне, к Кате и Анюте. Гоняться за отчаянно кричащими глупыми утками — стало для Пестрянки чуть ли не приятнее, чем прыгать на колени хозяйки и девочек. Рядом с этим совсем не похожим на любовь влечением к птицам, в Пестрянке проснулось еще новое чувство: она перестала бояться страшного хохота хозяина. Напротив, когда этот лязгающий, как железо, хохот долетал теперь до ушей Пестрянки, в ней просыпалось желание как-то дерзко, злобно залаять и погнаться за хозяином, как

за гогочущей уткой...

Бедная собака не предчувствовала, что в этих новых для нее ощущениях таится несчастье ее жизни. А между тем очень скоро ей пришлось узнать и это.

Настал день, когда влечение к уткам до того охватило Пестрянку, что она, забыв все, погналась за ними на дворе. Ни хозяйки, ни девочек там не случилось. При них Пестрянка как будто еще стыдилась своих новых порывов и поглядывала на уток украдкой, обливаясь языком, который сделался у нее необыкновенно длинным и влажным. Теперь же, без них, она вдруг сломя голову бросилась на уток. В глазах ее поднялся красноватый туман, а в носу чувствовался такой острый запах этих глупых ненавистных уток, что ей необходимо было почувствовать их перья между белыми, плотными зубами. Утки страшно загоготали и бросились врассыпную при виде набросившейся на них собаки.

Это гоготанье и шум их взмахиваемых в отчаянии трепещущих крыльев совершенно отуманили голову Пестрянки... Ничего не видя, она ринулась вперед, придавила лапой

вытянутую шею завопившей утки, и зубы ее почувствовали перья утки, сквозь них — мягкий, теплый пух, сквозь пух — что-то твердое. Челюсти Пестрянки невольно судорожно сжались и вдруг — еще новое ощущение, новое счастье: на язык Пестрянки брызнуло что-то теплое, почти горячее и с таким сильным, новым для нее запахом, что Пестрянка просто опьянела. Она закрыла глаза и еще больше сжала челюсти...

Но в это же время страшный удар — первый удар, выпавший на ее долю, — поразил ее в голову. Челюсти ее разжались, и мертвая утка выпала из них.

— А, мерзавка! На цепь ее, на цепь! — кричал сам хозяин Гобзин, пиная ее тяжелым сапогом с каблуком, подкованным медной подковкой.

Пестрянка поняла, что это он. Запах его она уже отлично знала. Она зарычала и сама удивилась, что может издавать такой странный звук. Она ринулась вперед. Нос ее опьянел на этот раз от запаха дегтя, смешанного с салом, которыми были намазаны сапоги мясника. Она ухватилась за что-то твердое, жир-

ное; челюсти ее опять невольно сжались, и опять то же жидкое, горячее, с таким острым запахом, обожгло сладостно ее язык...

Теперь она окончательно погибла... Она отлетела кубарем от прокушенной хозяйской ноги, отшвырнувшей ее к стенке сарая. Она вся тряслась, забившись в угол. Она забилась и от страха, испытанного ею впервые, и от боли, которою ныла ее голова, а главное — от воплей Кати и Анюты, выбежавших на крик отца и теперь безутешно рыдавших.

Эти вопли ее «высших существ» были воплями непонятной ей любви, погибшей для нее в новых ее желаниях, влечениях и чувствах. Эти вопли рвались точно из ее собственной груди. Она обессилела от них...

Она, как мертвая, вся сжавшись, отдалась в руки мужиков, надевавших на нее цепь...

Глава II

Настало грустное время для Пестрянки. Ни слезы дочерей, ни мольбы жены не могли поколебать озлобившегося на нее Гобзина. Она была посажена на цепь у тесной, старой конуры, откуда убрали устаревшую, почти переставшую лаять другую собаку.

Впрочем, Пестрянку посадили на цепь не в наказание за то, что она загрызла утку и укусила хозяина, а по другим причинам, ясно высказанным мясником жене.

— Что ее дуру наказывать! — добродушно уже говорил Гобзин, сидя с ногою, туго перевязанной и намоченной свинцовой примочкой. — А только на цепь ее!.. Барбоска стар стал. На живодерню пора: шкуру-то еще, пожалуй, купят на рукавицы... Надо, значит, новую цепную. Покупать ее, что ли? Да и утки да куры будут целее... А девчонкам довольно баловаться с собакой... Пусть лучше по хозяйству привыкают.

— Да она легавая, охотничья, Сидор Петрович! — пыталась уговорить мужа Акулина Мироновна.

— Легавая не легавая, а видно, что из охотничьих, — соглашался Гобзин.

— Ну, так и отдай ее какому-нибудь охотнику. Вот у нас Никандра охотник, — говорила его жена, помянув мужика их села, стрелявшего постоянно волков, которых было довольно в этих местах.

— Ни в жизнь не отдам! Давай деньги охотник, — не отдам! — даже плюнул Гобзин в ожесточении. — По-моему, охота — одно озорство, шалопайство... Волков бьют, так волков по-настоящему, облавами надо бить... А те, которые охотники, да еще с собаками, — самый беспутный народ. Шатуны, озорники! Хоть бы твой Никандра... Никогда шапки не снимет!.. Тоже — барин, дворянин! Не отдам ему собаки и никакому охотнику не отдам!

Выходит, что и непочтение Никандры к мяснику также играло роль в несчастной судьбе Пестрянки.

— Да не приставайте вы ко мне с нею, с дурой! Посадили на цепь, и пускай сидит, — заключил Гобзин громовым голосом, каким он обыкновенно прекращал все неприятные ему разговоры домашних. Акулина Мироновна,

утирая слезы украдкой фартуком, умолкла. Аня и Катя, прячась от отца по углам, прохныкали два дня, а потом и утихли. Сперва, пытаюсь как бы утешить Пестрянку на цепи, они принялись ее закармливать. То одна, то другая девочка, чаще же всего обе вместе, а иногда и сама хозяйка — плелись к конуре Пестрянки с деревянными чашками и кадочками.

Но все это было напрасно. Пестрянка в неволе сперва совсем не ела. Дрожа всем телом, сидела она, опустив шею, которую тянула к земле тяжелая цепь. Ее полные слез глаза с туманною мольбой смотрели на хозяйку, на девочек, ее хвост робко шевелился в ответ на их ласки; но все ее существо было подавлено. Она могла только подолгу, надрывая душу, визжать, извиваясь и сотрясаясь всем телом.

Да, кроме того, и Гобзин обратил внимание на то, что собаку угощали слишком усердно.

— Вы что это? — загремел он, — цепную мне хотите испортить?! — и он ударом ноги перевернул чашку с кормом. — Цепная собака должна быть впроголодь! Она должна быть

злая; а кто сыт, тот не зол. Я сам ее буду кормить; а вы все — чтоб не соваться! За каждую чашку, подsunутую ей, ее же буду бить. Поняли? — объявил он и приказал работнику раскидать корм, вывалившийся из опрокинутой чашки.

Акулина Мироновна, Катя и Анюта были напуганы его словами. Не послушайся они — ее же, бедную Пестрянку, будут бить! Они хорошо знали Сидора Петровича. Он не был зол, но если чего хотел, то добивался своего, не уступал ни капли.

Относительно Пестрянки у него было одно желание — сделать из нее цепную собаку. И он решил поступать так, как для этого было нужно. Кормил ее он, действительно, сам. Это значило, что раз в день он кидал ей скудные объедки, кости, отбросы потрохов и выливал в корыто у ее конуры помои. Бывало и так, что, часто уезжая из дому по своим делам, он забывал делать и это. Правда, в его отсутствие хозяйка и девочки таскали к Пестрянке сладкие куски; но у него был соглядатай, его любимец — дворник, татарин, не терпевший Пестрянки с тех пор, как хозяин, для потехи,

вымазав несчастную собаку сычным салом, заставил татарина, которым запрещено прикасаться к свинине, мыть Пестрянку.

— Чего кормить? бачке скажу! — грозился Ахмет каждый раз, как Анюта или Катя крались к Пестрянке с куском мяса или миской вкусного варева.

А Ахметку, как доносчика хозяину и сплетника, боялась сама Акулина Мироновна. Поэтому, в конце концов, Пестрянка жила, действительно, теперь впроголодь. Но голод — хотя чувство и весьма мучительное и до сих пор не испытанное Пестрянкой, — не был самым худшим в ее несчастье. Хорошо знакомое ей раньше ощущение счастья совсем прошло для Пестрянки. Оно теперь мелькало только в редкие минуты, когда хозяйка и девочки подходили к ней, ласкали ее и играли с ней: этого Гобзин им не запрещал.

— Потешьтесь, потешьтесь! — говорил он, хохоча своим лязгающим, как железо, хохотом при виде их нежности с Пестрянкой.

И минуты этих нежностей были теперь единственными проблесками счастья Пестрянки. То были ослепительные, мучительные

проблески счастья. Все ее тело, исхудавшее до того, что были видны ребра, в эти минуты изнемогало от болезненно острого восторга. Она извивалась, визжала, ползала в каком-то сладостном унижении по земле, волоча гремящую цепь, о которой она позабывала в это время. Непонятная любовь, которую она испытывала, бывши комнатным щенком, доходила в эти минуты в ее собачьей душе до какой-то сладостной боли.

Пестрянка сделалась необыкновенно нервна. Неволья на цепи не столько озлобила ее, как заставила чувствовать все с необыкновенной остротой. Когда к ней подходили Акулина Мироновна или девочки, она вся захлебывалась от счастья, содрогалась; на ее кроткие в эти минуты глаза набегали слезы, и нежный, робкий визг рвался невольно из ее груди. Когда к ней приближался хозяин со скудным кормом, она вся съеживалась, дрожала мелкой дрожью и, как-то скрючившись на четвереньках, подходила к еде. Когда она оставалась одна, она рвалась на цепи, вскакивая во весь рост, ибо цепь не давала ходу, и злобная тоска овладевала ею.



Сначала она выла, визжала, ожесточенно лаяла по целым дням и ночам, потом точно поняла, что это ни к чему не поведет. Она подолгу, с уставленными перед собою, тоскующими глазами, лежала теперь молча, неподвижно, и ей было как будто легче, когда на дворе никого не было: пустота вокруг, одиночество, точно смягчали острое чувство неволи, обращали это чувство в тупое, тоскливое, бессильно, тихое.

Но когда появлялся кто-нибудь, особенно чужой, непривычный, у нее являлось жела-

ние излить свое горе в злобе, эту злобу — в остервенелом лае. Особенно же ночью, когда становилось холодно, темно и совсем, совсем пусто, Пестрянке, комнатной собаке, спавшей раньше в комнате девочек на соломенной подстилке, становилось до того невыносимо, что она металась, как безумная, на своей цепи. В конуре было тесно, темно, дурно пахло, а снаружи было так страшно, пусто, в темноте слышались такие неуловимые, раздражающие шорохи, что уши невольно настораживались. А нос, этот ее вечный враг, почуявший когда-то заманчивый запах утки, погубившей Пестрянку, и теперь, ночью, был главной причиной ее горя. То ему ясно чудился запах совсем незнакомого человека, то ветер обдавал его запахом какой-нибудь далекой, далекой птицы, и Пестрянка со всех ног, позабыв все на свете, бросалась грудью вперед.

Но цепь гремела, ошейник грубо схватывал уже натертую им шею, и собака становилась на задние лапы, приподнимала уши, вытягивала мучительно морду и лаяла, лаяла громко, исступленно...

В этом лае выливалось все ее несчастье,

вся ее злоба, на кого или на что, — она сама не знала... Она знала только, что все это чужое ей: чужие люди, чужие запахи в темноте... О, с каким бы наслаждением она испытала то чувство, какое испытала только раз, когда ее зубы вонзились в ногу хозяина... Но цепь не допускала ее ни до кого. И она только лаяла, лаяла.

— Отличный сторожевой пес выходит! — говорил своей унылой жене Гобзин, ложась спать, зевая и потягиваясь на высокой пери-не.

Глава III

Много времени, почти целый год прошел после того, как Пестрянку посадили на цепь.

Ночью она вдосталь налаялась, так что устала и даже охрипла. Было раннее летнее утро, и теперь она сидела на задних лапах и утомленно, опустив голову, смотрела кротким безответным взглядом вокруг.

Тишь стояла необыкновенная. Люди еще спали. Даже враг Пестрянки, дворник и караульщик Ахмет, с рассветом проводивший за ворота Гобзина, уехавшего в город, ушел спать. Ему, должно быть, очень хотелось спать, потому что он даже забыл затворить ворота. Они так и стояли раскрытые настежь.

В ворота была видна зеленая лужайка, побелевшая от росы, поднимавшейся легким, низким паром над высокой травой, в ослепительных лучах солнца. Дальше, за этой лужайкой, темнело здание земской школы, саженьях в десяти от двора Гобзина: и этот двор и школа стояли на выезде из деревни. За школой же, недалеко виднелся прекрасный сос-

новый лес, уходивший на несколько десятков верст вдаль.

От этого леса теперь в утреннем воздухе, полном свежести и росистой влаги, шел смолистый запах, который всегда как-то странно действовал на Пестрянку: он точно манил ее куда-то и в то же время обессиливал, томил все ее поджарое, худое тело.

Все эти предметы — и двор хозяина, и школа, и лес, были отлично знакомы Пестрянке. Ворота Гобзина стояли часто открытыми, так как к нему заезжало много лошадей по мясному делу, а отворять их постоянно было некому, — у Ахмета и без того было достаточно заботы по дому и по двору; он был занят и в денниках конюшни: Гобзин не держал особого конюха, а лошадей у него было две — сытых, крепких.

Пестрянка очень любила этих лошадей. Они иногда утешали ее в тоскливом одиночестве: выпущенные на подножный корм, на лужайку перед домом, они с трудом, подпрыгивая стреноженными ногами, подходили к ней и сочувственно жевали перед ней своими сизыми мясистыми губами. Ворота оставляли

часто отворенными с раннего утра также из-за лошадей, чтобы видеть, как они пасутся на лужайке, и следить за ними.

Благодаря часто отворенным воротам, Пестрянка знала хорошо и школу. Она отлично знала, в какие часы зимой собираются закутанные в меховую, нередко рваную рухлядь ребятишки, шалая, кидая снежки, переругиваясь; в какие часы они разбегаются из школы, напоминая ей разбегающихся от ее лая уток или цыплят. Летом же Пестрянка безошибочно предчувствовала время, когда, ранним утром, сторожиха школы, Матрена, выйдет в платочке, с узелком и пойдет на свои обычные поденные работы. Уж гораздо позже, часа через два, на крылечко школы выходила всегда босая, плохо одетая в отрепанный сарафанчик и посконную рубашонку девочка лет 8, бледненькая, грустная, худая... Она подолгу сидела на крылечке и смотрела на Пестрянку. Это была Фрося — единственная дочь сторожихи.

Пестрянка любила эту девочку. Хоть Фрося не решалась зайти на двор сердитого Гобзина, никогда не ласкала Пестрянку, но хитрые

глаза собаки заметили, какие ласковые глаза у девочки, сидящей на крыльце. И запах Фроси нравился чуткому носу Пестрянки, а это случилось не со всеми людьми. И собака подолгу смотрела на девочку на крылечке, — ей как будто при виде этой девочки становилось легче в ее одиночестве, на цепи.

Но теперь было такое раннее утро, что не только Фрося еще не вышла на крылечко, но даже мать ее Матрена не выходила на работы. Все было пусто, все спало. Только петухи надсаживались, кричали за домами на нeсе-стах.

Пестрянка была очень голодна. Вчера купили нового быка, страшно сердитого, опасного для жизни тащивших его за рога работников, и Гобзии, занятый этим обстоятельством, забыл дать Пестрянке корма. Татарин же, которому он теперь часто поручал кормить ее, оставил ее голодной из тайной злобы. Он никак не мог забыть свиное сало, которое ему пришлось смывать с собаки.

Пестрянка за этот год хорошо узнала, что такое голод. Если б она умела говорить, она бы сказала, что это пустой мешок, в роде тех,

которые иногда подносят к мордам ее приятелей — лошадей, но мешок, который попадает в ее желудок и начинает там тоскливо сжиматься в сухую, коробящуюся от сухости тряпку. И когда этот пустой мешок в желудке совсем сжимается, то в глазах становится темно, в голове туманно, ноги слабеют, а язык шершавится, как терка, которою на глазах Пестрянки Акулина Мироновна, еще в счастливые дни собаки, растирала редьку. Потом от голода за щеками начинает скопляться слюна, которую с жадностью глотают, несмотря на то, что она горькая. Потом и слюна исчезает. Язык начинает пухнуть, и в горле поднимается клубок. Клубок этот растет в длинную сухую палку — и палка эта начинает вдвигаться в пустой мешок в желудке и разрывает и мешок, и желудок.

А носу в это время кажутся самые соблазнительные запахи: и овсянки, и уток, и костей с жирным мозгом. Но этого ничего нет, а только в глазах плывут то темные, то красные круги, и солнце, такое ласковое, когда сыт, — кажется злым, острым: оно точно блестящими остриями тычет и в глаза и в нос...

Теперь Пестрянка испытывала именно это. Солнце поднималось все выше из-за школы, так что школа перед ним казалась почти черной; оно озаряло белым блеском искрящуюся на траве росу, и с травы начало колоть своими остриями глаза и нос Пестрянки. А между тем по всему телу голодной, истомившейся от ночного лая собаки проступал холодный пот, и она уже слегка качалась от бессилья на передних ногах. Она, казалось, готова была задремать.

Но лес, этот близкий, лукаво выглядывающий из-за школы, лес не давал ей заснуть. Запахи листьев, моха, грибов так и порхали, как невидимые бабочки, около носа Пестрянки, прилетая из лесу. Неслись оттуда и еще какие-то запахи. Пестрянка чувствовала, что это запахи птиц, запахи чьей-то противной для Пестрянки шерсти, как будто какого-то пота, не человеческого и не собачьего... Эти запахи в росистом влажном воздухе утра действовали на отощавшую от голода собаку, как яд, разлитый вокруг нее. Голод от них как будто еще усилился. Усиливалась и слабость.

И вдруг Пестрянка покачнулась от этой

слабости. Но она сейчас же вздрогнула всем телом и широко раскрыла глаза. Ей вдруг показалось, что она на свободе. Когда она покачнулась, цепь должна была непременно оттянуть ее назад. Она так сжилась с этой цепью, что заранее чувствовала, когда она ее потянет, как чувствовала, когда ее нога во время прыжков упрется в твердую землю. Но теперь цепь ее не оттянула. Кожаный ошейник по-прежнему болтался у нее на шее, но цепи больше не было — она это чувствовала все яснее.

Но ей было страшно, страшно ошибиться в этом. На мгновение Пестрянка застыла. Она боялась пошевелиться. Потом вдруг сделала судорожный, отчаянный прыжок. Все еще ожидая, что цепь ее ухватит и удержит, она не рассчитала прыжка. Но цепь совсем ее не удерживала, а прыжок ее, хотя и ослабевших, ног был так силен, что выбросил ее, как стрелу, за ворота.

И она уж не могла остановиться. Ноги ее сдвигались и раздвигались, как пружины, и подбрасывали, как мяч, ее длинное, поджарое тело. Пестрянка почти не сознавала, что она

бежит. Ей казалось, что ее подхватил какой-то вихрь и гонит ее сзади, подкидывая ее ноги без удержу, без остановки. Голова ее опустилась низко в самую траву лужайки. Она чувствовала, что ее морда намочила от росы. Но в этой росе, в траве, по которой она бороздила мордой, было такое множество новых запахов, что голова Пестрянки совсем закружилась.

Ей казалось, что трава под ней безумно мчится назад, что вот неудержимо тоже назад промчалось темное большое пятно: это была школа, мимо которой пробежала Пестрянка. Потом Пестрянку понесли как будто какие-то волны и уносили все вперед и вперед.

Вдруг золотое солнце, в котором купалась на бегу ее спина, исчезло: широкая влажная тень точно замахала огромными крыльями над Пестрянкой. Но тень ничем не махала. То была неподвижная тень густого соснового леса, в который, не останавливаясь, одним духом вбежала Пестрянка. Это сама она колыхалась в огромных прыжках, перелетев опушку леса. И вдруг она, неожиданно для себя самой,



на бегу залаяла протяжным, ликующим, звонким лаем.

Да, она ликовала. Свобода после целого года неволи на цепи был тот ветер, который уносил ее в лес. Она забыла голод, она забыла Акулину Мироновну, Катю и Анюту, которые в то время мирно спали. Она только чувствовала давно волновавшие ее бесчисленные запахи леса.

А на дворе Гобзииа, у ее конуры, валялась, свившись концами, как умершая змея, старая цепь: одно из звеньев ее перетерлось этой но-

ЧБЮ.

Глава IV

Утром же, почти в то самое время, как Пестрянка бежала в лес, сторожиха земской школы, Матрена, проснулась. Она спала на полу, на рваном тюфяке, засаленном и протертом во многих местах. Этот тюфяк был подарок доброй Акулины Мироновны. Вместо одеяла, Матрена укрывалась старой набойчатой юбкой. У ног ее, полуприкрытая той же юбкой, спала дочь ее, Фрося.

Девочка вся разметалась от мух и духоты теплой летней ночи; но теперь, под утро, когда стало свежо, она спала крепко, глубоко дыша своим маленьким пересохшим ртом, подвернув кулачок под голову, из-под которой вылезла свернутая вроде подушки ватная кофта матери. Худенькие и бледные ноги Фроси с красноватыми шершавыми коленами как-то наивно беспомощно обнажились из-под ее посконной рубашонки, и несколько жирных мух прилипли к ним, чернея на ее синевато-белой коже, точно черноватые пятна. Ее немножко впалые глаза были закрыты нежными веками с длинными ресницами, и

бархатистая тень легла на худые, загорелые щечки от ресниц. Слабая, худенькая, она лежала неподвижно, как тело отощавшего от болезни мертвого ребенка.

Матрена быстро вскочила с тюфяка. По солнцу, ударившему в открытое окно, она сразу увидала, что ей пора бежать на покос Гобзина, куда она подрядилась работать за 45 копеек в день.

Ей, еще сонной, вспомнился страшный трудовой день, какой был вчера, и какой будет сегодня. Солнце жарит точно озлобленное, спина отнимается от утомительной косьбы, руки — точно деревянные палки: они уже не машут косой, а, наоборот, дергаются по воле злой косы, неумолимо лязгающей по траве. Пот рекой льется с почерневшего от загара лица и солеными ручьями ползет по пересохшим, потрескавшимся губам.

Вся беда в том, что Матрена не мужик-косец, а баба. Мужиков, как лучших косцов, Гобзин всегда ставил на открытые луга, где растет густая трава. Баб же посылали косить в кустарники, на откосы, на места, где трава лепится плохая, вразброс, редкая. Косить такую

траву — медленная, мучительная работа. Ее приходится выковыривать лезвием косы на неровных подъемах между кустиками и кочками. После такой косьбы у Матрены обыкновенно дрожали ноги и руки, а в спине саднило и ломило.

Кроме того, не всегда на этом покосе и сыт бываешь. Не успеешь хлебнуть мутного ржаво-кислого квасу и сунуть в рот деревянную ложку с похлебкой, как приходится вскакивать: появилась тучка, испугались дождя и погнали баб собирать в копны раскиданное для сушки сено... А собрали или раскидали сено, опять пора приниматься за косу: Гобзин и его надсмотрщики не упустят минуты. И снова жарься, лепись между цепких, рвущих одежду кустов, под зноем полуденного солнца.

Все это вспомнилось Матрене, когда она надевала свое ситцевое истасканное платишко и умывалась наскоро у школьного умывальника с цинковой доской.

Но как ни тяжел был покос, она шла на него все-таки охотно. Воздух, зелень, простор, оживленная тяжелой, но все же здоровой ра-

ботой крестьянская толпа в ярких рубахах и платках, — на покос в деревнях вообще наряжаются, — наконец, песни, без которых не обходятся на покосе, — все это бодрило бабье сердце Матрены.

Какое было сравнение с работой на рогожной фабрике, где работала она зимой, и где заболел и умер ее муж. Она никогда не забудет этой закоптелой комнаты, в которой на жердях и потемневших от сырости веревках висят целыми шатрами над головой мочалы. В прогнившем от постоянной сырости полу, образовались выбоины, из которых торчит набившаяся грязь, а иногда этой липкой грязи столько набирается, что весь пол покрывается ею сплошь вершка на два; приходится и спать, и есть, и работать среди куч мокрой распаренной мочалы. С потолков и стен, покрытых плесенью, каплет постоянно как в бане. Воздух от чанов с горячей водой, в которой парят мочалу, — душный, парный... Рабочие набиты в избе так, что негде двинуться... И они не только там работают, но и живут... Там у Матрены родилась Фрося, там умер ее муж Архип... Какое счастье, что после смерти

мужа, ей дали это место школьной сторожихи в селе, в восьми верстах от города, где изнывала она с мужем в «рогожной». Село это было родиной ее мужа, куда ее и выдали замуж из другой деревни. Ее мужа, пьяницу, с семьей отец его давно выгнал из семьи, а когда тот стал судиться с родителем в волости из-за своей доли земли, деревенское общество, односельчане, отказалось от него. И Матрене пришлось плестись за пьяницей Архипом на заработки. Он не отпускал ее от себя. Хорошо, хоть по смерти мужики вспомнили жену своего обделенного односельца и, как кость голодной собаке, бросили Матрене место сторожихи в своей школе, с трехрублевым жалованьем в месяц.

Жить на это Матрена, конечно, не могла; она все еще бегала иногда зимой за восемь верст в «рогожную», работая там недельно; летом же нанималась косить, жать. Но у нее и у Фроси был, по крайней мере, кров чистый, просторный, какой редко выпадает крестьянам.

Да, лето с его покосами, жатвами для Матрены было все-таки благодатью, сравнитель-

но с зимой, с холодами, во время которых ей приходилось бежать, сломя голову, 8 верст, чтобы преть и задыхаться в «рогожной». Поэтому, собираясь на покос, она хлопотала все-таки бодро, торопливо. Она засунула за пазуху краюху хлеба, насоленного до бела, потом привязала к фартуку бурак с квасом и узелок с холодным вареным картофелем. Гобзин никогда не кормил работавших у него.

— Получи с меня деньги и ешь свое! — говорил он.

Конечно, и на деньги он не был щедр. Матрена была здоровая работающая баба, косила почти как мужик, а не могла, вот уж которое лето, добиться ни полкопейки прибавки.

Захватив все, что нужно, Матрена быстро пошла из школы, даже не посмотрев на спящую дочь. Уже давно она обратилась точно в какую-то машину для косьбы сена, для жатвы ржи, для мочки рогож, для чистки полов и потолков школы. Тяжелая рабочая жизнь без своего угла, с постоянной беготнёй и заботой о куске хлеба, истрепала в бедной бабе не только чувства женщины, но даже и матери.

Матрена почти уже не знала, любит ли она

свою несчастную Фроську — эту, в сущности, обузу для измотавшейся бабы... Но все-таки где-то в глубине, в тайнике своей души, она горячо ее любила. Когда она сегодня пробежала несколько сажен от школы к Гобзинскому покосу, торопливо семеня по росистой траве босыми ногами, она вдруг остановилась...

Что она забыла? Положительно, забыла. Но что?.. Ах, да, оставить еды для Фроськи.

И Матрена сделала уже нерешительное движение, чтобы вернуться к школе и бросить в окно узелок с картофелем... Ей так и представилась худая, тощая девочка с костистыми голыми коленками. Сердце ее защемило, но Матрена снова еще быстрее пошла к покосу.

«Потерпит, — подумала она, — что ей: не работать!.. Сегодня деньги получу. Капусты возьму у Акулины Мироновны, щи ей вечером сварю»...

И Матрена заспешила вперед. Опоздай — сейчас штраф... И баба бежала на покос немногим тише, чем Пестрянка в лес.

Глава V

Фрося проснулась.

Луч солнца, перебираясь от довольно большого окна школы, неслышно скользнул на личико Фроси и сквозь ее тонкие, почти прозрачные веки прожег шаловливым огоньком ее спящие зрачки.

Девочка вдруг вздохнула, попробовала повернуться на другой бок, но вместо того вдруг закрыла рот, сморщила все лицо и быстро села на тюфяке; она поджала колени под самый подбородок и охватила их тонкими, как ниточки, загоревшими до самого плеча, голыми ручками. Потом она вдруг разом раскрыла глаза и снова их закрыла.

И точно пригретая кошечка, она вся потянулась, вытянула, как только могла, руки, снова легла, шаловливо перекатилась худеньким телом по тюфяку и, быстро вскочив на ноги, то бегом вприпрыжку, то подскакивая на одной ноге, пробежала все четыре комнаты школы.

В большой длинной, длинной классной комнате, с низким потолком, стояли желтые

парты, беспорядочно поставленные на лето в один угол, чтобы Матрене было удобно мести каждый день. В «ночлежной», где зимой проводили ночь дети из дальних деревень, во время вьюги, или нестерпимого мороза, теперь было совсем пусто. В комнате учительницы, уехавшей на каникулы к дяде-священнику, стояли только сундук да шкаф, крепко запертые на ключ: в сундуке было имущество учительницы, в шкафу школьные книги. Кухня была тоже пуста. Только котелок, чайник да деревянная большая чашка Матрены стояли на столе. Остальную мелкую утварь свою Матрена прятала в сундучок, который ставила у себя в головах там, где спала.

Окна во всех комнатах были открыты, по наказу учительницы — открывать их непременно в теплые, сухие дни. Широкими бледно-палевыми полосами гуляло солнце по деревянным, еще неоштукатуренным свежим стенам недавно построенной школы. Это солнце, ветерок, ласково освежавший воздух в окна, пустота школы, полная простора, придавали всему какой-то праздничный веселый вид. Тишина царствовала полная, почти тор-

жественная.

Маленькая, полуголая девочка, прыгавшая среди этой пустоты и тишины, вдруг замерла среди кухни. Той, кого она искала, не было.

— Мамынька! — осторожно, точно боясь крикнуть особенно громко, протянула она своим слабоватым, нежным голоском.

Но только эхо откликнулось в пустой комнате. Фрося вдруг как-то страшно затихла. Ее бледное личико вытянулось, углы губ опустились, глаза светло-голубые, не детски-глубокие, бесконечно робкие, расширились. Она опять села на тюфяке в ту же позу, подсунув колени под подбородок и уныло ухватив их руками.

Для нее было все ясно. «Мамынька ушла на покос». Придет она поздно-поздно. Есть Фросе она ничего не оставила, потому что чашка, чайник и котелок в кухне пусты, а только в одной из этих посуды могли быть еда или питье. Это случалось уже не в первый раз. Фрося уже не раз испытала это ужасное одиночество в пустой летней школе, этот голод, который ей нечем было утолить целые шесть-семь часов.

Фрося знала, что «мамынька» ее любит. Она это чувствовала особенно в те долгие зимние вечера, когда они обе сидели вдвоем в кухне, и мать подолгу смотрела в глаза своей девочки, гладила ее белые, как лен, теперь уже заплетенные в жиденькую косичку волосики и, вдруг неожиданно всхлипнув, почти сердито отстраняла девочку от себя. Ни по чему так не знала Фрося, что мать ее любит, как по этому всхлипыванию, хотя от этого всхлипывания сердце девочки мучительно надрывалось.

А знать это Фросе необходимо. Она и без того девочка робкая, забитая, хотя, в сущности, никто ее не бил, мать даже редко бранила. Забила ее та подавленность, та боязливость, какую она вечно чувствовала в своей матери. А не знать еще при этом, что тебя любят, для Фроси значило бы в конец быть несчастной. Теперь вот «мамынька» ушла, не оставив ей еды, и это было уж не в первый раз; а все-таки Фросе не так тяжело. «Мамамынька» все-таки рано или поздно придет и накормит ее. «Мамамынька», ведь, любит ее.

Фрося усиленно начала убеждать себя в

этом, сидя в своей унылой позе, вся съежившись, как замерзшая, тоскующая на севере обезьянка. И вдруг Фрося заплакала. Крупные, светлые слезы потекли из ее больших не детски-печальных глаз на ее загорелые, покрытые веснушками и все-таки бледноватые впалые щеки.

Фрося как будто испугалась этих неожиданных слез. Она быстро вскочила на ноги, отерла краем рубашки слезы, надела старенькую юбчонку и побежала к колодцу. Там стояло старое ведро, наполовину налитое водой. Фрося с трудом дотащила его до крыльца и тут же умылась холодной водой. Потом вошла в школу, надела ситцевый поношенный сарафанчик, причесала роговым, жирным от набившейся перхоти, гребешком волосы, заплела тщательно свою косичку — «мышиный хвостик», как ее насмешливо называла барышня-учительница.

Фрося была готова. Босая, еще со слезами на глазах, она стала перед большим образом Спасителя в ярко блестящей ризе, который подарил школе попечитель, мясник Гобзин. Фрося «шепотком», как говорят в деревнях,

точно робея самой себя, начала читать торопливо молитвы. Хотя она была еще неграмотная, но знала уже много молитв: она их все подслушала, прячась за дверью, когда ученики, один за другим, отвечали батюшке одни и те же молитвы. Она их запомнила сама для себя незаметно. И странно: она как будто даже стыдилась обнаруживать, что она так много знает молитв. Даже матери она этого не показывала.

Только, оставшись одна, она вычитывала их все до одной на коленях, перед образом, как сделала и сегодня. Она даже устала и задохнулась, когда поднялась с колен и отошла от образа. Но едва она сделала это, вдруг на личике ее отразилась тоскливая боль. Она знала, что это такое: это был голод... Но это еще только начало: в желудке ее еще не чувствовалось той безнадежно томительной пустоты, которую она почувствует, как и раньше бывало, часа через два или три позже; а к вечеру, ко времени возвращения «мамыньки», это дойдет до жгучей боли, так что она будет непременно громко плакать в этой пустой школе.



Точно человек, который, почувствовав, что у него начинают болеть зубы и сейчас сильнее разболются, затихает в каком-то испуге, — затихает так же и Фрося.

Тихими шажками вышла она на крыльцо и села на нем в своей любимой позе с коленями под подбородком, тоскливо охваченными ее детскими ручонками.

Глава VI

Фрося любила сидеть летом в одиночестве на крылечке. Она всегда была одинока. Даже и тогда, когда она совсем маленьким, болезненным заморышем жила с отцом и матерью в шуме и толкотне «рогожной», она, в сущности, была одинока. Она забивалась обыкновенно куда-нибудь под перекладину становины, отведенной для жизни и работы ее родителям, и, как грязный, сырой рогожный комочек, бледная, тихая, грустная мокла под каплями, сочившимися со всех сторон.

Матери тогда было совсем не до Фроси. Работа в мастерской, постоянные заботы о том, чтобы пьяный муж не стащил в кабак заработанные тяжелым трудом гроши, все это захватывало вполне Матрену. Даже материнские обязанности в тогдашней жизни были для нее мукою. Сидя за разборкой мочал, она избегала взглядывать на свою дочурку, которая чахла в атмосфере рогожной, пропитанной вредными испарениями.

Отца Фрося помнила совсем смутно. Когда его хоронили, Фрося даже не плакала. Она

пугливо, ничего не понимая, таращила глазки, в то время как мать грубо толкала ее в затылок и, всхлипывая, сердито бормотала:

— Ревн, Фроська! Тятьку хоронят... У, несмышленная!

Когда Фрося с матерью переехала в школу, — это было зимой, шумная толпа ребятишек сразу запугала ее маленькое сердце. Мать иногда ласково толкала ее в их толпу, говоря:

— Ступай, поиграй... Ишь, все одна да одна!..

И девочка робко, бочком теснилась к ним; но шумные деревенские ребята не обращали на нее внимания. Они только прозвали ее, неизвестно почему, «Фроська слюнявая», хотя она вовсе не была слюнявой. Они, вероятно, хотели этим обозначить общую вялость ее жалкой, всегда грустной фигурки. И, попытавшись бесцельно повертеться в их шумной толпе, Фрося снова уходила в угол, и оттуда молча наблюдала за играми детей. Летом, когда этих ребятишек не было, Фросе было даже легче. Сидит она себе спокойно, одна-одинохонька, то в пустой школе, то на крылечке, и

разные смутные мысли бродят в ее мечтательно-грустной головке.

Внутри школы мысли ее были большею частью о Боге, о том, как жить. Она часто подслушивала за дверью класса наставления батюшки ученикам. Голос у батюшки был такой резкий, настойчивый, убедительный. Любимое его поучение было о зарабатывании в поте лица своего хлеба, о честном и безропотном терпении в нужде и работе. Намекал он на это потому, что имел дело с детьми крестьянскими, которых ждал в жизни тяжелый труд. Но он говорил об этом постоянно.

В голове Фроси от этих наставлений батюшки сложилась своя дума. Оставаясь одна, она часто садилась перед образом и думала, какая она будет честная, трудящаяся в жизни. Не детские радости мечтались этой брошенной девочке, а то, как она будет каждый свой кусок честно зарабатывать, и как «Боженька» будет видеть это. И она иногда по целым часам не сводила глаз, широко раскрытых, с застывшим в них благоговейным страхом, с образа Спасителя в золотой ризе, подаренного школе сердитым Гобзиным.

Когда Фрося сидела на крыльце школы, мысли ее были светлее. Здесь она не была уже так одинока. Во-первых, она ужасно любила смотреть на зеленую мягкую травку у крыльца; во-вторых, ее занимала оживленная жизнь двора Гобзина, которую Фрося могла наблюдать в открытые ворота.

Хозяйственная суетня Акулины Мироновны, ленивая ходьба по двору то за тем, то за другим дворника Ахмета, беготня то играющих, то помогающих матери Анюты и Кати — все занимало Фросю. Поставь ее саму среди этих хлопочущих людей, она бы, может быть, смутилась и оробела; но издали эта чужая суетня и хлопотливость были приятны ее детскому наивному любопытству.

Не совсем одинокой чувствовала она себя и из-за лошадей, которых выпускали пастись на лужайку, — она как-то необыкновенно сжилась с этими кроткими работягами и даже иногда украдкой, когда этого никто не видел, подбегала к ним и робко трогала их влажные, мясистые морды. Лошади только приветливо шлепали отвисшей нижней губой, с седыми редкими волосами, и помахива-

ли хвостами.

А главное, полное одиночество Фроси исчезало на крыльце, благодаря Пестрянке. Когда эта цепная, тощая собака, вытянув цепь на всю ее длину, садилась на задние лапы в самых воротах и смотрела своими бесконечно кроткими, исстрадавшимися, почти человеческими глазами на Фросю, Фросе казалось, что это единственное существо, которое понимает ее вполне. Подолгу сидели обыкновенно девочка и собака в нескольких саженях друг от друга, неподвижно смотря друг на друга. Пестрянка иногда начинала нежно, кротко и ласково повизгивать, а Фрося почти шепотом говорила протяжно:

— Собачка... собачонка, соба-ака!..

Подойти к Пестрянке, войти во двор Гобзина, этого страшно сердитого и богатого Сидора Петровича, Фрося бы никогда не решилась. Особенно после того, как она заглянула во двор на играющих Анюту и Катю, и это заметил сам Гобзин. Он ничего не сказал тогда, но так обругал, придя в школу, Матрену за то, что ее девчонка сует всюду нос, что бедная сторожиха целый день плакала и пригрозила

Фросе: ежели она без нее сунется куда-нибудь дальше крыльца, то она ее выпорет.

С тех пор Фрося точно прилипала в погожие летние дни к крылечку школы. Прилипла она и сегодня к нему. Долго, долго она сидела на нем неподвижно, съезжившись. Сегодня ей не везло. Лошадей не было: на одной уехал в город Гобзин, другая возила сено. Да и Пестрянка не выглядывала из конуры, должно быть, спала в ней. Ахмет не проходил по двору. Акулина Мироновна и девочки тоже еще спали. Одна была Фрося на крыльце, совсем одна, да кроме того еще и голодна. Даже травка не радовала ее своим видом. Она сидела и прислушивалась к тому точно неслышному, но ясному нытью, которое саднило ей пустой желудок. Точно из него что-то тянули и не могли вытянуть. У Фроси даже голова слегка закружилась.

Она почувствовала легкую тошноту. Все это уже было ей привычно, знакомо. Девочка решила только про себя, что скоро придет время забиться в классную комнату и плакать. Губы ее все судорожно подергивались; горькая слюна скоплялась в их углах, и во

всем существе Фроси было так пусто, так
безысходно пусто: ни кусочка хлеба, ни лоша-
дей, ни Пестрянки...

Губы девочки подергивались с особенною
силой...

Глава VII

В самой глубине леса, в густом ореховом кустарнике, лежала волчица. Пять ее детенышей привалились своими маленькими телами к ее животу. Она родила их несколько недель назад, в самом начале июня. Около двух недель они были слепыми и больше ползали по мягкому мху, чем ходили. Когда они приподнимались на своих нетвердых лапках, то покачивались и слегка дрожали. Но теперь их светлые, буро-желтые глаза смотрели ясно и весело вокруг; ноги окрепли, и они начинали уж бегать, возиться и добродушно задирать друг друга. Утомившись этой возней, они, по привычке, приваливались к поджарому животу матери.

Теперь у волчицы было меньше молока, чем раньше, но зато волчата питались уже не одним только молоком. Иногда волчица приносила им загрызенную землеройку, барсука, полевую мышь, и, прежде чем покормить своих детенышей, тщательно перегрызала тонкие кости пойманных животных. Волчата, приподняв одно острое ухо кверху и подогнув

лапку, смотрели с возрастающим любопытством и жадностью на то, как их мать, точно давясь и вытягивая мохнатую шею, готовила им пищу. Они бросались на вкусную еду, даже начинали слегка рычать, погружая свои уже крепнувшие зубы в более крупные кусочки мяса и костей. Когда они сосали молоко матери с сонно-блаженными рожицами, с ними этого не было: они тогда казались тихими и кроткими, как ягнята.

Иной раз они не ограничивались тем, что приносила им волчица. Прыгая по мху и траве, они вдруг замечали червя, зеленую гусеницу или красную, как капля крови, ягодку костяники или еще неспелый орешек, выглядывающий бледнопалевым шариком из бледнозеленой чашечки. Все это сперва их изумляло, но в конце концов, постояв с приподнятым ухом и ножкой над диковиной, они раскрывали рот, и диковина исчезала в их мягкой розовой пасти.

Одна диковина сегодня особенно поразила их. С высокого ясеня из гнезда свалилась птичка, маленькая, с желтеньким брюшком, черными ножками и остреньким носиком.

Волчиха в это время была на охоте, и волчата сбежались к птичке, трепетавшей бессильными крылышками на мху. Одно мгновение волчата стояли неподвижно; ушки их насто-рожились, мордочки вытянулись.

Вдруг один из них, самый чувствительный, завыл и, прыгнув на птичку, отскочил назад. Но другой, покрупнее ростом и более серьезный, ударил птичку лапой и, когда она пискнула, лег перед ней и, уставившись в нее мордой, смотрел на нее. Потом он оглянулся на братьев, точно ища их одобрения.

Но братья, стоя вокруг, все вытянули морды к птичке и зарычали один за другим смешным ребячьим рычанием.

В это самое время мать их возвращалась с охоты. Охота была очень неудачна: волчица не принесла детям ничего. Она брела уныло, медленно, пробираясь между дерев, как вдруг издали увидела своих детей. Они так увлеклись несчастной птичкой, что не заметили даже матери, тогда как обыкновенно они еще издали чуяли ее приближение своими острыми носиками и начинали радостно прыгать и повизгивать.

Волчица остановилась. Она была рада, что дети ее не заметили. Она с умилением, понятным только матери, смотрела на детенышей.

Вдруг тот, который лежал перед птичкой раскрыл свою пасть с ярко белевшими молодыми, острыми зубами, и птичка исчезла, а по волосатым щекам закрытой пасти волчонка побежали две тоненькие струйки алой крови; остальные волчата завывали и принялись хватать за уши храбреца.

Волчица замерла в восторге. Она поняла, видя все это, что дети ее уже достаточно выросли. Надо им принести что-нибудь еще живое, в чем кровь не застыла, какого-нибудь полузагрызанного зверька. Но радость ее сейчас же сменила печаль. Сегодняшняя охота показала ей, как беден становится лес живым кормом. В первый раз она возвращается с пустой пастью, щелкая уныло зубами.

Беда ее в том, что она не может отлучаться далеко от детей. Они все еще слишком малы, чтоб покидать их без боязни за их жизнь. Того гляди, насунется из леса свой же брат, матерый волк-бирюк, и с голодухи перегрызет волчат. А, кроме того, до содрогания пугают

выстрелы, которые она слышит все чаще, все ближе к ее логову. Она знает, эти выстрелы — самое страшное, что грозит честному волку, в поте лица, с опасностью жизни добывающему себе пропитание; эти ужасные выстрелы обстреливают ее и лишают корма ее детей, потому что не только волчья порода боится их раскатистого грома, а и вся живая тварь. И нет того мелкого, презренного зверька, который бы не прятался в глубокие норы, в непроходимые чащи, заслышав выстрелы.

Чем чаще и ближе к этому орешнику раздаются выстрелы, тем дальше от него разбегается зверьё. Да и ей самой пора подумать перебраться подальше в глубину леса. Но надо же дать хоть сколько-нибудь окрепнуть ее милым волчатам. Надо же дожждаться хоть того радостного дня, когда она увидит, что попадись любимому ее волчонку зверь под силу, и он перегрызет этому зверю горло и пропитает себя.

Вот они — эти милые волчата! Для них вывалившаяся из гнезда пичужка — диво! Правда, лапоухий, с желтым пятном на левой подвздошине, уже понял, в чем дело: ловко про-

глотил птичку. Правда и то, что остальные разозлились на него. Следовательно, уже знают, что уступать безобидно пищу другому, когда сам голоден, недостойно зрелого волка. Но все это только первые шаги в добыче пищи. Надо укрепить в волчатах постоянную смелость и кровожадность, прежде чем вести их дальше вглубь леса. А на чем все это укреплять, когда от этих проклятых выстрелов скоро, кажется, самые деревья побегут дальше отсюда? И волчица, озабоченная судьбой своих детей, медленно подошла к волчатам.

Съевший птичку, точно ожидая награды за отлично выдержанный экзамен, прыгнул к ней с сияющими глазами и начал тереться о ее седоватую грудь мордой, на которой комочками висела еще засохшая кровь птички. Остальные, точно жалуясь на него, окружили мать и начали протяжно и жалобно завывать.

Но заметив, что пасть матери пуста, они завывали еще жалобнее. Она знала, что ее голодные дети с нетерпением ожидали ее прихода, и, точно пристыженная их завываньем, она в унылом изнеможении легла на мох.

Некоторое время волчата продолжали завывать и дергать зубами ее длинную шерсть. Она лежала неподвижно, мрачно. Волчата вдруг тоже затихли и тоскливо привалились к ней.

Угрюмо и безмолвно искали они ее сосцов, в которых уже почти не было молока.

Глава VIII

Пестрянка бежала между тем по лесу. От постоянного голода она очень ослабла и совсем отвыкла бегать, благодаря сиденью на цепи; но тем не менее она бежала быстро и, сама того не замечая, забежала очень далеко.

Пестрянка на бегу не замечала леса. Морда ее была опущена, и глаза упорно смотрели вниз. Она видела траву, мох, кое-где ярко и влажно зеленый, кое-где ржаво-красноватый, кое-где седой, точно бледная неокрашенная жесь. Иногда она видела корни деревьев, выступавшие из почвы, точно застывшие змеи, то темно-сизые, то темно-красные, то почти черные. Иногда она видела в траве и во мху грибы: алый мухомор, покрытый белыми пленками, поражал ее своим ядовитым запахом; роскошный, влажный груздь, седой, мокрый, точно махровый, обдавал нос Пестрянки какой-то клейко-кислою влагой.

Каплями крови горела между широкими зелеными листьями костяника; точно шарики каменного угля, виднелась изредка черника и ежевика, и сладко пахла лесная землянич-

ка, расползаясь в мокрое, бледно-розовое пятно под ногой Пестрянки.

Но не запахи трав, грибов и ягод опьяняли Пестрянку; иные запахи, в которых она не могла еще разобраться, туманили ее чутье. То были запахи перьев, шерсти, словом, чего-то живого. Голодная, она чувствовала, что в этих запахах ее корм. Истомившаяся на цепи, она чувствовала, что эта свобода выпала так неожиданно и непонятно на ее долю только для того, чтобы разыскать, откуда несутся эти раздражающие запахи. И она бежала, совала мордой во все стороны, иногда описывала круги в этих поисках и бежала дальше, — все вглубь темно-зеленой поросли.

А лес нависал над ней своими ветвями. Точно колонны и своды храма возвышался иногда он высокими прямыми отвесами, на самой вершине которых, высоко, высоко, точно неподвижно, плавала в воздухе темная, мглистая хвойная шапка.

Вдруг Пестрянка еще ниже опустила морду и сперва ускорила, потом неожиданно, точно в страхе, замедлила свой бег. Один запах, поразивший ее, выделился среди других. Сперва

запах этот показался ей соблазнительным — таким острым, обещающим что-то сочное, вкусное. Потом от него у Пестрянки как-то сжалась грудь, и ощущение страха и злобы стало мучительно расти в ней.

Ей вдруг захотелось повернуть назад, даже побежать снова ко двору Гобзина, а главное — почувствовать милые запахи Акулины Мироновны, Кати и Анюты. И в то же время она чувствовала, что она не может повернуть. Непобедимое, злобное ощущение тащило ее, точно на веревке, вперед и вперед...

Пестрянка, на бегу, незаметно для самой себя, зарычала и в тот же миг вдруг отскочила назад. Перед ней, в зеленоватом полумраке леса, под густою, как шатер, листвою орешника, засверкало шесть пар искр. Одна пара была большая, пять поменьше. То была волчица с ее детьми.

Давно уже она вскочила на все четыре лапы и насторожила уши. Детеныши, как один, сделали то же. Волчица переходила от надежды и восторга к отчаянию и страху. Давно она чуюла, что по лесу бежит собака. Она достаточно пожила на свете, чтобы знать, что за



этим отвратительным животным, столь ненавистным свободной, благородной волчице, крадется обыкновенно то, еще более ненавистное двуногое существо, которое делает эти ужасные выстрелы.

Но выстрелов не слышалось, к запаху приближавшейся собаки совсем не примешивалось особенного, гораздо более противного запаха, — двуногих. Значит, собака бежала одна! Грудь волчицы вдруг поднялась, шерсть на спине встала радостно дыбом. Какую чуд-

ную добычу посылает ей ее любимец и владыка — лес! Что может послужить лучшим, первым уроком самостоятельной жизни для ее милых детей, как не предоставленная их зубам шкура этого презренного товарища двуногих...

Волчица тяжело дышала от радости. Да! эта глупая собака, конечно, без двуногого... Вот она появилась между деревьями, вот она отскочила назад, села на задние лапы и щелкает зубами... Это совсем глупая молодая собачонка! Волчица это сразу поняла, да и не она одна: ее милые волчата не только не испугались, но так и уставились на невиданного ими зверя.

Как у них сверкают глаза — эти янтарно-желтые глаза с черным ободком! В них точно искры зажглись.

— Ну, ну! смелее, дети... Не бойтесь: я вас не выдам! — точно говорил взгляд волчицы, поворачивавшей морду то к одному, то к другому волчонку...

Но они еще как будто робели. Они только скалили зубы и облизывались длинными языками...

Не двигалась и Пестрянка. Она, как присела на задние лапы, широко расставив передние, так и сидела, оскалив зубы. Над нею светки, поблескивая тусклым серебром, висела нить паутины, и на этой нити, как большая налившаяся ягода, мерно качался паук — красный, с черной мертвой головой на спинке.

Она не видела этого паука. Злоба на этих собак (волки ей казались собаками), которых она видела перед собой, — одну большую, пять маленьких, — наливала кровью ее глаза. Боязнь их в то же время, точно ударом дубины, отшибла ее спину и задние ноги... Запах их, и противный, и сладкий, как густой чад, почти залепил ее ноздри, так что ей было невозможно дышать...

И в то же время где-то далеко, далеко чудились ей запахи доброй, мягкой женщины, в козловых башмаках, и двух курносых розовеньких девочек, с бойкими ножками, иногда в шаловливой беготне, год тому назад, так приятно наступавшими на ее лапы.

Мучительная тоска охватила Пестрянку. Точно цепь, на которой она так недавно еще

сидела, опять была привязана к ее ошейнику и становилась все короче и короче, так что Пестрянке уже нельзя было никуда двинуться, даже на вершок... Наконец как будто эта цепь уже только одним кольцом коротким, тяжелым ухватила Пестрянку, и ей даже головы нельзя было повернуть...

Глава IX

Голодная Фрося все сидела на крыльце и закрывала глаза, готовые подернуться слезами. Вдруг детский крик, раздавшийся над ее головой, склонившейся в унынии, заставил ее вздрогнуть и раскрыть глаза.

Перед нею стояли Катя и Анюта Гобзины. Девочки были погодки, обе белокурые, обе розовые, курносые, с широкими скуластыми рожцами, покрытыми веснушками; они были, очевидно, обеспокоены. В маленьких загорелых и пухлых руках старшей, Кати, торчала деревянная посуда, выкрашенная снаружи. В ней лежали кости, жирные обрезки мяса и куски хлеба. Девочка, с трудом держа тяжелую для ее рученок чашку, полуоткинулась назад своим коротеньким телом, в светлом платице, таком же как и у Анюты.

— Девочка, девочка! — восклицала она, обращаясь к Фросе: — не видала ты Пестрянки, нашей собачки? Она сбежала... Цепь порвалась, и она убежала... А мы ей корму принесли.

— Да, убежая... не видая? — вторила ей, ле-

печа, совсем как маленький ребенок, Анюта.

Круглые, светлые глазки ее под золотистыми, чуть видными бровками расширились и округлились; точно перетянутые ниточками, пухлые кисти рук в детском отчаянии хлопали по юбке.

Фрося в первый раз видела так близко перед собою этих девочек, этих счастливиц, дочек самого Сидора Петровича. Она даже смутилась от этой встречи; но известие, что Пестрянка убежала, взволновало ее не менее хозяек несчастной собаки, пришедших, по случаю отъезда отца, покормить свою любимицу.

И едва эта мысль — Пестрянка убежала — вспыхнула искоркой в головке и без того расстроенной Фроси, как рядом с ней вспыхнула и другая, еще более ужасная. И она, позабыв всякое смущение, вскочила со ступеньки крыльца и, хлопнув по бедрам своими худыми руками почти так же, как это делала Анюта, воскликнула:

— Убежала!? Пестрянка!? Наверно, в лес! А там волки!.. Ох, съедят ее!.. Еще вчера Никандра мамыньке говорил: страшенные волки!

— Волки! — вдруг взвизгнула Катя и поставила на землю посудину с кормом: точно у нее ручки обессилели от того, что сказала Фрося. Анята же вдруг разом заплакала громко и протяжно.

— Анютка! Анютка! не плачь! — закричала на нее Катя и даже затопала босой ножкой. Но в окрике старшей сестры слышались почти такие же слезы, как и в плаче младшей. Анята не унималась.

— Во-олки! во-олки! — выкрикивала она сквозь слезы...

— Ну, пойдем к маме, к маме пойдем! — схватила ее за руки Катя. — Скажем ей, скажем ей...

И, не договорив, что они скажут маме, обе девочки, одна, все еще всхлипывая на бегу, другая, тяжело дыша, побежали, держась за руки, в ворота своего двора и скрылись за ними. Только их босые белые пятки сверкнули перед Фросей.

Она осталась опять одна. У ног ее на зеленой травке, перед крыльцом школы стояла посудина с кормом, которую девочки от волнения забыли. Из посуды пахло недавно

сваренным мясом; сочный жир желтоватым теплым блеском отсвечивал на солнце; аппетитные, хотя и обгрызенные куски сероватого ситного хлеба с светло-коричневыми корками, обсыпанными кое-где мукою, выставлялись из краев посуды.

Во время короткого разговора о Пестрянке Фрося забыла о своем голоде; но вдруг запах и вид всего этого точно пробудил внутри ее какое-то злое, маленькое животное, которое заскреблось в ее груди, завозилось в ее желудке... Ее больная худая рука быстро протянулась к посудине. Но она сейчас же отдернула руку.

Разве это для нее? Ведь, это для Пестрянки... Но, ведь, она может взять самый маленький кусочек хлеба... Девочки не заметят... И ручонка Фроси опять, но уже тихо и нерешительно потянулась к краюшке хлеба, так подзадоривающе торчавшей над самым краем посуды.

Но она снова еще быстрее отдернула руку. Вдруг ей вспомнилось наставление батюшки в школе: — Кто покорыствуется чужим добром, хоть самой маленькой пылинкой —

тот *тать*, вор... Только то, что ты заработал горбом своим, руками добыл, — то и твое, тем и будь сыт. Помни заповедь: *Не укради!* — густым басом, почти грозно говорил батюшка ученикам.

Фрося в это время стояла за дверью и благоговейно повторила шепотом: — не укради!

— Но, ведь, если б это было чужое, — продолжала думать Фрося, между тем как голодный, неведомый зверек внутри ее царапал ее сильнее, а запах жира, мяса и хлеба так сладостно смешивался с росистым воздухом летнего утра.

— Это, ведь, для Пестрянки... Ну, а Пестрянку, наверное, съели волки... Значит, это ни для кого, ничье... Ведь, у Гобзиных другой собаки нет. Ну, а если Пестрянку не съели волки? Если ее найдут, или она сама прибежит, — побегает, побегает по лесу и прибежит домой?

И вдруг самое смутное ощущение овладело Фросей. То была и несомненная радость тому, что Пестрянка, может быть, жива; но в то же время то было и мучительное беспокойство. Значит, тогда все это — и косточки, и мясо, и

хлеб, все это — Пестрянкино! И эта славная краюшечка — тоже Пестрянкина!

Мало-помалу мысли ее начали выбираться на какую-то ясную, светлую дорогу.

Ну, хорошо! Пестрянку волки не съели... Она прибежит назад, или ее разыщут... Но, ведь, ото случится не сейчас же! Может быть, целый день она не прибежит, или ее не найдут... Может быть, и ночь, а не то и несколько дней и ночей. Разве из лесу выбраться легко? Или найти там легко? Да еще и в лесу ли она? Может быть, побежала по дороге, а дорога-то идет далеко, далеко... Бежит по ней Пестрянка... догони-ка ее скоро.

А это чужое... Так разве она, Фрося, не хотела бы всей своей маленькой, но совсем, совсем честной душой зарабатывать свое, чтоб кормиться, пока мама на покосе, в лесу, иль в рогожной добывает хлеб к вечеру. Ведь, все-то утро без еды разве можно сидеть? А чем же она такая маленькая, слабая девочка зарабатывает?..

Ну, вот теперь-то она и знает... Теперь-то она и нашла чем!..

И вдруг глаза у Фроси засверкали каким-то

диким, но радостным огоньком; она схватила посудину с кормом для Пестрянки в обе ручки — и, не трогая в ней ни одного кусочка, но совершая как будто еще худшее преступление, крадучись и пугливо оглядываясь, пошла к воротам Гобзина.

Ни на дворе, ни перед воротами никого не было. Девочка подкралась к воротам, скользнула в них, пугливо и озабоченно оглянулась во дворе кругом и остановилась, прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь. Все было тихо. Одинокая курица, выбежавшая из-за дома, подняла боком голову и внимательно посмотрела на девочку, стоявшую пугливо посреди двора с посудинкой в руках. Курица, может быть, думала, что в этой посудине корм для нее: просо или другое зерно.

Но Фрося, не замечая курицы, быстро подошла к конурке Пестрянки и поставила посудину около нее. Курица подбежала к посудине, все так же боком, одним глазом заглянула в нее и, найдя в ней неподходящее для себя, разочаровалась: она, презрительно кудахтая, побежала прочь.

Фрося же еще раз быстро, пугливо огляну-

лась и вдруг, вся изогнувшись и подобрав подол своего сарафанчика, влезла в собачью конурку. Ей стало тесно. В конуре было темно-вато и дурно пахло. Под своими босыми ногами и руками, — она была вынуждена стать на четвереньки, — она почувствовала острые куски обглоданных костей и под ними сырую, промозглую солому. Но она терпеливо стояла на четвереньках и, высунув в отверстие конуры свое страшно бледное, теперь возбужденное личико, с дико горящими и все-таки чего-то робеющими глазками, беспокойно смотрела на двор.

Вдруг она вся задрожала. Она почувствовала, как ее сердце затрепетало от неожиданного испуга. Послышались громкие приближающиеся голоса. И сейчас же во двор, с правой стороны дома, где были амбары, вышли Акулина Мироновна, Катя, Анюта и Ахмет. Кроме Ахмета, который был злобно невозмутим, все были в сильном волнении.

— Ну, может быть, еще и прибежит; может быть, и не съели волки? — пыталась успокоить своих девочек Акулина Мироновна.

Эта высокая, полная, добродушная женщи-

на сама была опечалена пропажей Пестрянки. Она шла к конуре собаки, чтобы осмотреть цепь и убедиться, что она порвалась. Девочки бежали за ней вприпрыжку, с робкой надеждой заглядывая в глаза матери все еще испуганными глазками.

Когда они подошли к конуре, Анюта всплеснула руками и вскрикнула.

— Девочка, что ты тут делаешь? — вырвалось у Акулины Мироновны.

Ахмет вытаращил свои желтоватые, злые глаза. Катя раскрыла свои пухлые губки. Все увидели Фросю в конуре. Стоя по-прежнему на четвереньках, она вылезла до половины из конуры. Она смотрела молящими, полными слез глазами на Акулину Мироновну и девочек...

— Я хочу, я хочу... быть вашей собакой, — лепетала она, — пока прибежит Пестрянка... Я буду лаять, я буду играть с вами, — повернула она свое личико к Кате и Анюте... — А вы за это... мне... давайте есть из этой чашки... Мне очень хочется есть... А мама ушла... Мы очень бедные... а я честная... Я не хочу быть татью, — она сказала слово «тать», слышан-

ное от батюшки. — Я хочу зарабатывать...



Но тут слезы не дали ей договорить: они разом хлынули из ее глаз, перехватили ее горло. Катя и Аня так и застыли перед конурой с совсем круглыми, как горошины, глазами. Акулина же Мироновна вспыхнула яркой, жгучей краской. Схватив Фросю за ручонку, она вытащила ее из конуры и поставила на ноги...

— Дурочка, разве можно?.. Мы тебя и так накормим, — вырвались у нее отрывистые слова. Большие светлые глаза ее наполнились слезами.

Как раз в это время, на своей сытой лошадке, приятельнице Фроси, в крепкой тележке въезжал в ворота вернувшийся из города Гобзин. Увидев жену и дочерей у собачьей конуры, он со своим лязгающим хохотом закричал:

— Ау, брат, ваша Пестрянка! Никандра на дороге встретил... Ходил на волков... Нашел только кости да вон ошейник! — И мясник, все не сходя с тележки, высоко поднял над головой обрывки ошейника Пестрянки.

Но Акулина Мироновна, всегда покорная и почтительная к мужу, даже не посмотрела на

него... Она вдруг подняла горько плачущую Фросю на руки и понесла в кухню.

Гобзин в недоумении все еще сидел в тележке. Катя и Аня все с теми же круглыми, потерянными глазками бежали за матерью. Фрося на груди Акулины Мироновны плакала навзрыд.

А мать ее Матрена в это время, ничего не подозревая, вся в поту, в изнеможении махала косой. И все так же невозмутимо качался красный с мертвой головой на спине паук над останками Пестрянки в лесу. Волчица с волчатами исчезли в лесу.